

Василий Осипович Ключевский

Петр Великий



Часть сборника
Исторические

Василий Осипович Ключевский

Петр Великий

Серия «Исторические портреты»

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176691
Исторические портреты: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-28593-8*

Аннотация

«Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака – с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты кремлевского дворца...»

Василий Осипович Ключевский

Петр Великий



Император Петр Великий

Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака – с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты кремлевского дворца.

Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными вещами; все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание: двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, «цимбальцами» и «большими цимбалами» немецкой работы; в его комнате стоял даже какой-то «клевикорд» с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С годами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия, и в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревож-

ные заботы взрослых людей того времени. Так, в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия, встречаем много деревянных пищалей и пушек с лошадами.

На четвертом году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.

Придворный учитель. Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это мнение люди первой половины XVIII в., еще по свежему преданию рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что по крайней мере до десяти лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан

неким Крекшиным, младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крекшина любопытен если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка.

По старорусскому обычаю, Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, Божественное Писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной, боярином Федором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверья: они придерживались раскола. Две родные сестры Соковнина – Феодосья Морозова и княгиня Авдотья Урусова – еще при царе Алексее запечатлели мученичеством свое древнее благочестие: царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь – Алексей – впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродете-

лей исполненного, в грамоте и Писании искусного: то был Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода (ведомства неокладных сборов).

Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив в передней, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил: «Кто здесь Никита Зотов?» Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова; тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в Божественном Писании искусен; вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь

и патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея (так называли учащихся духовных учебных заведений – *Прим. ред.*) и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил и гонорар: патриарх дал ему сто рублей (с лишком тысячу рублей на наши деньги), государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и «весь убор», в который, по уходе государя и патриарха, Зотов тут же и перерядился. Крекшин отметил и день, когда началось обучение Петра, – 12 марта 1677 г., следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь «еллинским и латинским борзостям».



К. Лебедев. Царевич Петр Алексеевич и дьяк Зотов

Учение. По словам Котошихина, для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих – «учительных людей тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведенный рассказ; но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию, любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства.

Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей-грамотеев. Он начал, разумеется, со «словесного учения», т. е. прошел с Петром азбуку, Часослов, Псалтырь, даже Евангелие и Апостол; все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и Апостол. Так учился царь Алексей; так начинали учение и его старшие сыновья.

Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с «кунштами», картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать «исторические книги», рукописи с рисунками из

дворцовой библиотеки, и заказала живописного дела мастерам в Оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составила у Петра коллекция «потешных тетрадей», в которых были изображены золотом и красками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и «истории лицевыя с прописьюми», иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крекшин, касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам, Дмитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей большое значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает? Быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том подьячему спасибо!

События 1682 г. Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, пре-

рвалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 г. За смертью его последовали известные бурные события: провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана; интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрельецкий мятеж в мае того года; избиение бояр; установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства. Наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате.



Петр I в селе Измайлове.

Гравюра с картины Мясоедова

Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрельецкого мятежа, вызвал удивление твердостью, какую со-

хранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту. Через год 11-летний Петр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка кремлевский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие. Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за поправленный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили Холопий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали мятежников, грозя им: «Лежать вашим головам на площади; до чего вы добунтуетесь? Русская земля велика, вам с ней не совладать». Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали только знака от своих господ на усмире-

ние мятежников и не дождалось. От общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Петр отвернулся прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить.

С тех пор московский Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной барской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловными и семью Алексеевными, и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и «всяких верховых чинов».

Петр в Преображенском. События 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давано было от рук царевны Софии», нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестриным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе.

Силой обстоятельств он слишком рано предостав-

лен был самому себе, с десяти лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери: он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преображенского.

С 1683 г., никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности пробудившееся еще в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали с летами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 г. вмешали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье: надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры.

По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из кремлевской Оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие, из его комнат выносят на починку то сломанную пицаль, то прорванный барабан. Вместе с образом Спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арапом, и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей (широкие длинные топоры с изогнутым лезвием в виде полумесяца на длинной рукоятке, использовавшиеся русскими пехотинцами в XV–XVII вв. — *Прим. ред.*), пистолей; дворцовый кремлевский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседливый образ жизни, вечно в походе. То он в селе Воробьево, то в Коломенском, то у Троицы, то у Саввы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводках, его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет; не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные

занятия. В 1688 г. Петр забирает из Оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «глебос большой». Зачем понадобился этот глобус – неизвестно; только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то «книгу огнестрельную».

Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведенному обычаю, когда московскому царевичу исполнялось пять лет, к нему из придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники породистых сверстников, которые становились его «комнатными людьми». Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3 тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма – больше 100 тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в «сокольничьем пути», т. е. ведомстве, служило больше 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных людей, столповых приказчиков,

конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников больше 600 человек. Это были большею частью все люди породю «честные», не простые, были пожалованы денежным жалованьем и платьем погодно и поместьями и вотчинами, «пили и ели царское». Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам – некуда и непристойно. Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чем ни попало.

Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу. Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по 300 в каждом. Они и получили название *потешных*. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалованье, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. «Пожалован я, – читаем в одной челобитной, – в ваш, великих государей, чин, в потеш-

ные конюхи». Набор потешных производился официальным, канцелярским порядком. Так, в 1686 г. Конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меншиков, сын придворного конюха, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по замечанию князя Б. Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодежь. Так, в 1687 г. с толпой конюхов поступили И. И. Бутурлин и князь М. М. Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в «барабанную науку», как говорит дворцовая запись. С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из Конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с «потешной казной». Играя в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр, одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все «изящных фамилий», и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал ко-

манду строгой солдатской выучке, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была «регулярным порядком потешная фортеция», городок Плесбурх, который осаждали с мортирами и со всеми приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями.



Петр I занимается воинским преобразованием в селе Преображенском. 1687 год

По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который иско-

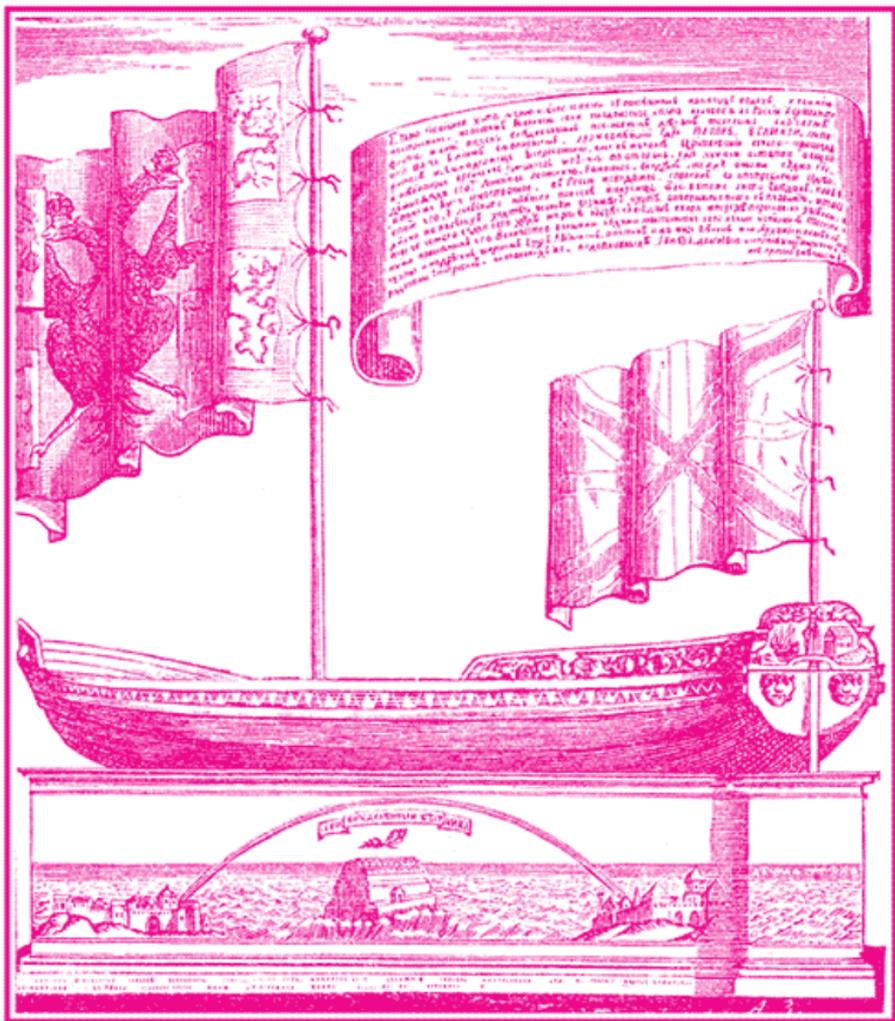
са посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была Немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом: тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров.

Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 г. иноземный мастер Зоммер показывал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семеновском и от них получивших свои названия, полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты – из русских. Но главным командиром обоих полков был поставлен русский, Автамон Головин, «человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию», как отзывается о нем тогдашний семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин.

Вторичная школа. Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнако-

мой прежним царевичам. По рассказу самого Петра, в 1687 г. князь Я. Ф. Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым «можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места», да жаль – украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу-«дохтуру». Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Петр с «великою охотою» велел найти такого человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Петр «гораздо с охотою» принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей, прежде всего, видим, как плохо обучен был Петр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов. Пишет слова по выговору, между двумя согласными то и дело подзревает твердый знак: «всегда, сътърелять, възяфъ». Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины: сложение (additio) он пишет то «адицое», то «водиця». И сам учитель был не бой-

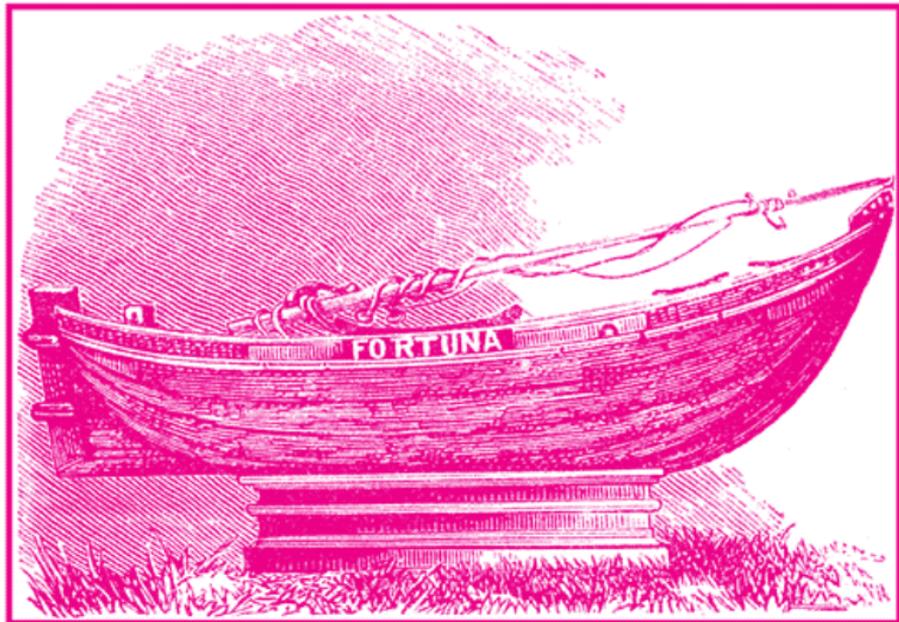
кий математик; в тетрадах встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра.



Измайловский ботик

С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайло-

ве амбары деда Никиты Ивановича Романова, Петр нашел завалявшийся английский бот, который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нем страсть к мореплаванию, повел к постройке флотилии на Переяславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного «дедушки русского флота» были безвестные боковые родичи, о которых Петр не счел нужным упомянуть. Еще в 1687 г., за год или больше до находки бота, Петр таскал из Оружейной казны «корабли малые», вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке; даже еще раньше, в 1686 г., по дворцовым записям, в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота; для Петра это дело было наследственным преданием.



«Fortuna» – ботик Петра I на Переяславском озере

Нравственный рост Петра. Изложенные черты детства и юности Петра дают возможность восстановить ранние моменты его духовного роста. До десяти лет он проходит совершенно древнерусскую выучку мастерству церковной грамоты. Но эта выучка шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С десяти лет кровавые события, раздражающие впечатления вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колеи древнерусской жизни, свя-

зали для него старый житейский порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными чувствами, рано оставили его одного с военными игрушками и зотовскими кунштами [*Куншт Яган* – актер-комедиант времен Петра Великого. *Кунст* – искусство (нем.)]. Во что он играл в кремлевской своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах села Преображенского уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженный своими спальниками и коноухами. И так продолжалось до 17-летнего возраста. Он оторвался от понятий, лучше сказать, от привычек и преданий кремлевского дворца, которые составляли политическое мирозерцание старорусского царя, его государственную науку, а новых на их место не являлось, взять их было негде и выработать было не из чего. Обучение, начатое с зотовской указкой и рано прерванное по обстоятельствам, потом возобновилось, но уже под другим руководством и в ином направлении.

Старшие братья Петра переходили от подьячих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателю, который кое-как все же знакомил воспитанников с политическими и нравственными понятиями, шедшими далее обычного московского кругозора, говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях

к подданным. Петру не досталось такого учителя: место Симеона Полоцкого или Ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками, с выучкой столь же мастеровой, технической, как зотовская, только с другим содержанием. Прежде, при Зотове, была занята преимущественно память; теперь вовлечены были в занятия еще глаз, сноровка, сообразительность; разум, сердце оставались праздными по-прежнему. Понятия и наклонности Петра получили крайне одностороннее направление. Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрой и Милославскими; все гражданское настроение его сложилось из ненавистей и антипатий к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам; солдаты, пушки, фортеции, корабли заняли в его уме место людей, политических учреждений, народных нужд, гражданских отношений. Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика, долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него.

Правление царицы Натальи. Между тем царица Софья со своим новым «голантом» Шакловитым построила было новый стрелецкий умысел, против бра-

та и мачехи. В августе 1689 г., за полночь, внезапно разбуженный, Петр ускакал в лес и оттуда к Троице, бросив мать и беременную жену. Это был с ним едва ли не единственный случай крайнего испуга, показавший, каких ужасов привык он ожидать со стороны сестры. Замысел не удался. Троевластное правление, которому насмешливо удивлялись за границей, но которым все были довольны дома, кроме села Преображенского, кончилось: «третье зазорное лицо», как называл Петр Софью в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем; Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от падчерицы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, «была править некапабель (неспособна. – Прим. ред.), ума малого». Дела правления распределились между ее присными. Лучший из них, князь Б. А. Голицын, ловко проведенный последнюю кампанию против царевны, был человек умный и образованный, говорил по-латыни, но «пил непрестанно» и, правя Казанским дворцом почти неограниченно, разорил Поволжье.

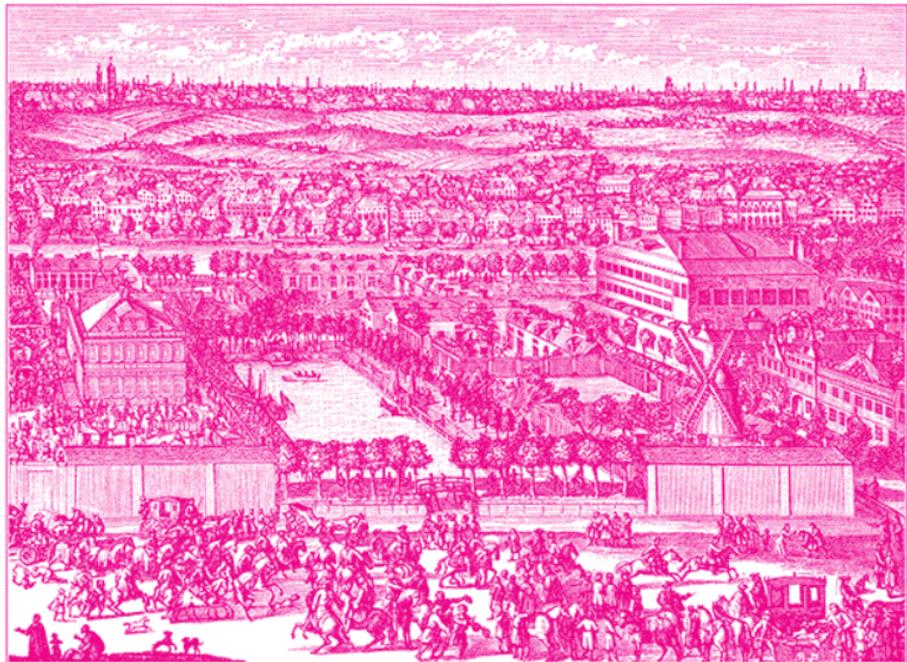
О двух других временщиках, брате царицы Лье Нарышкине и свойственнике обоих царей по бабушке Тихоне Стрешневе, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро «без резону, по биза-

рии своего гумору». Второй – тоже человек недалекий, но лукавый и злой, «интригант дворовый». Эти люди и повели «правление весьма непорядочное», с обидами и судейскими неправдами; началось «мздоимство великое и кража государственная». Они вертели Боярской думой; бояре первых домов остались «без всякого повоира и в консилиии или палате токмо были спектакулями». Родовитый князь Куракин возмущен этим падением первых фамилий, особенно княжеских, их унижением перед какими-то Нарышкиными, Стрешневыми, «господами самого низкого и убогого шляхетства», а брак Петра привел ко двору более чем три десятка Лопухиных обоюбого пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главы которых, приказные доки, были «люди злые, скупые ябедники, умов самых низких». Правящей среде вполне под стать было московское общество, служилое и приказное, проявлявшее себя рядом скандалов.

В записках окольничего Желябужского, близкого наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дьяки думные и простые, судившиеся, пытаные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, батогами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки, брань во дворце, «неистовые слова» про государя, женоубийство,

оскорбление девичьей чести, подделку документов, кражу казенных золотых с участием жены министра Т. Стрешнева. Так, князь Лобанов-Ростовский, владевший несколькими сотнями крестьянских дворов, разбоем отбил царскую казну на Троицкой дороге, за то был бит кнутом и, однако, лет через 6, в Кожуховском походе шел капитаном Преображенского полка. В этом придворном обществе напрасно искать деления на партии старую и новую, консервативную и прогрессивную: боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления.

Компания Петра. В такой обстановке очутился Петр по низложению Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным и общественным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в «марсо-вы потехи». Это теснее сблизило его с Немецкой слободой: оттуда вызывал он генералов и офицеров для строевого и артиллерийского обучения своих потешных, для руководства маневрами, часто сам туда ездил запросто, обедал и ужинал у старого служаки генерала Гордона и у других иноземцев.



Немецкая слобода.

С гравюры Генриха де Витта. Начало XVIII в.

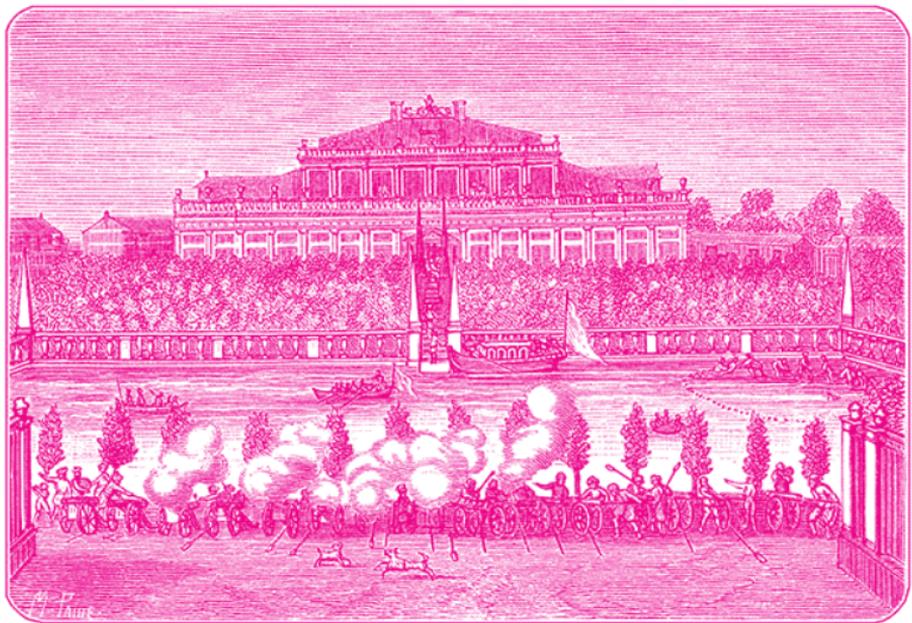
Слободские знакомства расширили первоначальную «кумпанию» Петра. К комнатным стольникам и спальникам, к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги с Кокуя. Рядом с бомбардиром «Алексашкой» Меншиковым, человеком темного происхождения, невежественным, едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, а потом всемогущим «фаворитом», стал Франц Яко-

влевич Лефорт, авантюрист из Женевы, пустившийся за тридцать земель искать счастья и попавший в Москву, невежественный немного менее Меншикова, но человек бывалый, веселый говорун, вечно жизнерадостный, преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир на славу с музыкой, с дамами и танцами, – словом, душа-человек или «дебошан французский», как суммарно характеризует его князь Куракин, один из царских спальников в этой компании. Иногда здесь появлялся и степенный шотландец, пожилой, осторожный и аккуратный генерал Патрик Гордон, наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям, по выражению нашей былины.

Если иноземцев принимали в компанию, как своих, русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев. То были потешные генералиссимусы: князь Ф. Ю. Ромодановский и И. И. Бутурлин. Первый носил имя Фридриха, был главнокомандующий новой солдатской армией, королем Пресбургским, облеченным обширными полицейскими полномочиями. Он являлся начальником розыскного Преображенского приказа, министром кнута и пыточного застенка, «собою видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни», но по-

собачьи преданный Петру. Второй – король польский или, по своей столице, царь Семеновский, командир старой, преимущественно стрелецкой, армии, «человек злорадный и пьяный и мздоимливый».

Обе армии ненавидели одна другую заправской, не потешной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не символическими драками. Эта компания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, достаточно привести две строчки из русского письма, какое Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 г., двадцать лет спустя по прибытии в Россию: «Slavou Bogh sto ti prechol sdorova ou gorrod voronets. Daj Vos ifso dobro sauersit i che Moscva sdorovou buit (здорову быть)». Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи: «мейн либсте камарат, мейн бест фронт», а архангельского воеводу Ф. М. Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом: «Min Her Geuverneur Archangel». В компании обходились без чинов: раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал «с зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать для того, что ты нашей компании, как писать». Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг.



Дом Лефорта в Немецкой слободе.

С гравюры Генриха де Витта

Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги Нарышкиных и Тихона Стрешнева: неумная, суеверная и вздорная, Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держалось, только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, невлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома; это охлаждало, а охлаждение учащало отлучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь како-

го-то бездомного, бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции. Сам изготавливает и пускает замысловатые и опасные фейерверки, производит смотры и строевые учения. Он предпринимает походы, большие маневры с примерными сражениями, оставляющими после себя немало раненых, даже убитых. Сам испытывает новые пушки, один, без мастеров и плотников, строит на Яузе речную яхту со всей отделкой. Он берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии, учится, наблюдает, все пробует. Он расспрашивает иноземцев о военном деле и о делах европейских, и при этом обедает и ночует где придется: то у кого-нибудь в Немецкой слободе, чаще на полковом дворе в Преображенском у сержанта Буженинова, всего реже – дома, только по временам приезжает пообедать к матери.

Однажды в 1691 г. Петр попросился к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей набралось 85 человек. После ужина все гости расположились на ночлег по-бивачному, вповалку, а на другой день все двинулись обедать к Лефорту. Последний, нося чины генерала и адмирала, был, собственно, министром пиров и увеселений, и в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня на три, по словам князя Куракина, «для пьянства, столь вели-

кого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать». Уцелевшие от таких побоищ с «Ивашкой Хмельницким» хворали по нескольку дней; только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.

Значение потех. Воинские потехи занимали Петра до 24-го года его жизни среди частых попок с компанией и поездок в Александровскую слободу, в Переяславль и Архангельск. С годами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом: это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами; из игрушечных пушек и пушкарей вышли настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом: в этих походах, как и во флотилии на Переяславском озере, видимо бесцельной и смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота.

Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховом, на берегу реки Москвы, в 1694 г., в которые, по свидетельству

участника князя Куракина, едва ли, впрочем, непреувеличенному, введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона. О них была составлена целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерцициях, что они весьма содействовали обучению солдатства, а о Кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда «убито с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50». Правда, сам Петр об этой последней своей потехе писал, что под Кожуховом у него, кроме игры, ничего на уме не было, но эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были Азовские походы 1695 и 1696 г. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу. Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерцициями, и флота, в одну зиму построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на Переяславской верфи, и с помощью мастеров, там же им выученных.

Петр в Германии. В 1697 г. 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из Немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефор. Впрочем,

мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком, в письмах своих, даже к матери, уже в 1689 г. подписывался «Petius», лучшую галеру воронежского флота, им самим построенную, назвал «Principium». Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример, и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не цивилизации.

На заграничных письмах его явилась печать с надписью: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это

была открытая цель посольства. Великие послы – Лефортов, Головин и думный дьяк Возницын – получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, «которые б сами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам», таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, «которые делают на кораблях всякое дело».

Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось «знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские». Также они должны были владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты, к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу. При возврате в Москву, привести с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнению подряда. Кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей (около тысячи рублей на наши деньги). Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 г. извещала дожда, что их царское намерение «во Европе присмотреться новым воинским искусствам и поведением». Но из дневника князя Б. И. Куракина, бывшего в числе

этих дворян, видим, что они учились там математике, части астрономии, навтике, механике, фортификации, оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера.

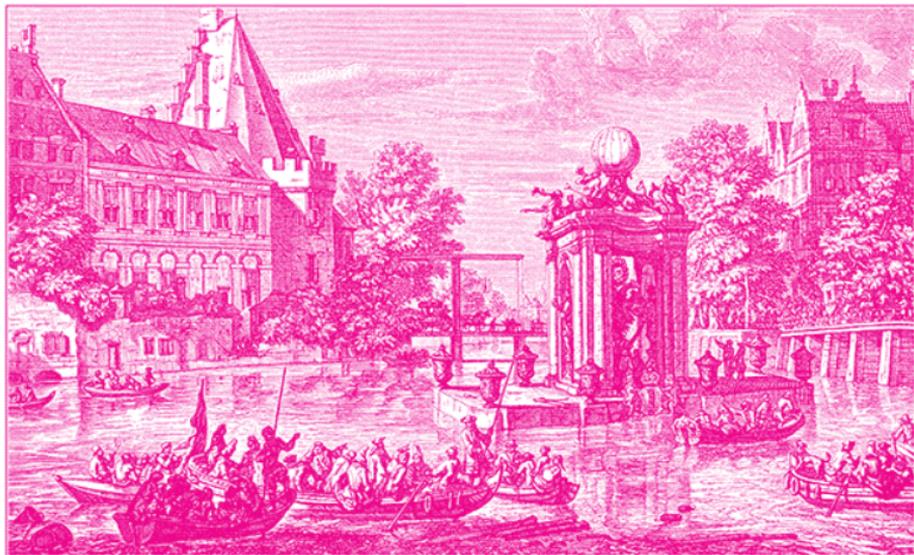
Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию, в городке Коппенбурге, ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины Ганноверская и Бранденбургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет.

Сначала растерявшись, Петр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепоил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить кораб-

ли и фейерверки. Он показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал 10-летнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупилась на рассказы о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишество грубости, неумение есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу: это-де государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Коппенбург или недели за две до коппенбургского ужина.

Петр в Голландии и Англии. Сообразно со своими наклонностями, Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опередив посольство с немногими спутниками, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардаме среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая каморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве. Между

делом он осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Однако красная фризская куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли Петра от досадливых разоблачений, и скоро ему не стало прохода в Саардаме от любопытных зевак, собиравшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 г. 17 августа были в комедии, 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр, съездив ночью в Саардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Ост-Индской голландской компании. Там, амстердамский бургомистр Витзен, или «Вицын», человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтеры посольства, посланные учиться, «розданы были по местам», как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы «по охоте». 11 человек с самим царем и А. Меншиковым пошли на Ост-Индскую верфь плотничать, из остальных 18 – кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать.



Въезд русского посольства в Амстердам в 1697 г.

С гравюры Мушерона

Для Петра на верфи заложили фрегат, который делали «наши люди», и недель через 9 спустили на воду. Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома, все осматривает, всюду бегает. В Утрехте, куда он поехал на свидание с королем Английским и штатгальтером Голландским Вильгельмом Оранским, Витзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный

труп ребенка, который улыбался, как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Бозергава, медицинского светила того времени, и, заметив, что некоторые из русской свиты выказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа.

Петр постоянно в движении, осматривает всевозможные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, взлезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иностранцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца четыре в Голландии, Петр узнал, «что подобало доброму плотнику знать», но, недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 г. отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры. Он был радушно встречен королем, подарившим ему свою лучшую новенькую яхту. В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел «всякие дивные вещи», и перебрался неподалеку на Королевскую верфь в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вулич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и

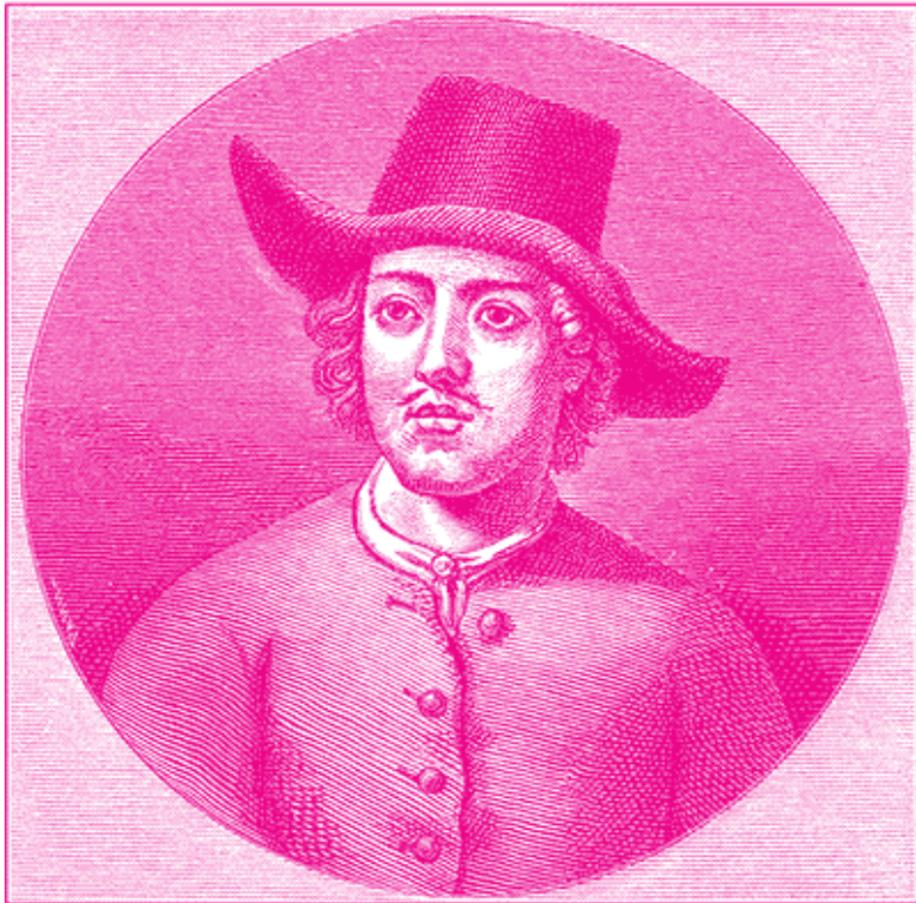
«отведывал метания бомб».



Петр I в кабинете голландского собирателя редкостей Вильде

В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Байта для него дано было примерное морское сражение. Журнал (поденная записка. – *Прим. ред.*) заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в «костелы», однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали, призывали к себе женщину-великана, четырех аршин ростом, и под ее го-

горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь, ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой «веселы», не раз бывали в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и политической тюрьмой, «где английских честных людей сажают за караул», и раз заглянули в парламент. Сохранилось особое сказание об этом «скрытном» посещении, очевидно Верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему надо учиться у англичан». Изредка Журнал отмечает: «Были дома и веселились довольно», т. е. пили целый день за полночь. Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение.



Петр Великий в матросской одежде в Саардаме

В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда, после трехмесячного жительствова, царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало,

счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы, газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов, до 5 тысяч рублей на наши деньги по тогдашнему отношению московского рубля к фунту стерлингов. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке.

Зорко следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки, не заметили, что у себя в Немецкой слободе они знали с отбросами того мира, с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и Лондоне. Вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать: неужели это властные просветители своей страны? Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернет. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый английский иерарх

не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути Провидения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительной частью света.

Возвращение. Но Петру было не до впечатления, оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до корабельного повара, истратив на заграничную поездку не менее 2 1/2 миллиона рублей на наши деньги, в мае 1698 г. спешил в Вену, а оттуда, в июле, внезапно отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте. Можно представить себе, с каким запасом впечатлений, собранных за 15 месяцев заграничного пребывания, возвращался Петр домой. Попав в Западную Европу, он поспешил, прежде всего, забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше, по крайней мере, оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни. Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами.

Тотчас по приезде в Москву он принялся за жестокий розыск нового стрелецкого мятежа, на много

дней погрузился в раздражающие занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 г. Ненавистный образ сестры с ее родственниками и друзьями, Милославскими и Шакловитыми, опять восстал в его нервном воображении со всеми ужасами, каких он привык ожидать с этой стороны. Недаром Петр был совершенно вне себя во время этого розыска и в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утерпев, сам рубил головы стрельцам.

А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжелое дело: через два года по возвращении из-за границы, началась Северная война. Торопливая и подвижная, лихорадочная деятельность, сама собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до 50-летнего возраста. Северная война – с ее тревогами, с поражениями в первое время и с победами потом – окончательно определила образ жизни Петра и сообщила направление, установила темп его преобразовательной деятельности. Он должен был жить изо дня в день, поспевать за быстро несшимися мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, одуматься, сообразить

наперед план действий. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую привычным занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлениям и познаниям, вынесенным из-за границы. Это не была роль ни государя-правителя, ни боевого генерала-главнокомандующего.

Петр не сидел во дворце, подобно прежним царям, рассылая всюду указы, направляя деятельность подчиненных; но он редко становился и во главе своих полков, чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику Карлу XII. Впрочем, Полтава и Гангуд навсегда останутся в военной истории России светлыми памятниками личного участия Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны. Он оставался обычно позади своей армии, устроил ее тыл, набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготавливал амуницию, провиант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обер-мастера. Такая безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятия, чувства,

вкусы и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам – точь-в-точь как чугунная пушка его петро- заводской отливки.

Его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, характер. Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их.

Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать и особенно походил на одного из ее братьев, Федора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шу-

та-забавника в салоне Екатерины II.



PETRUS PRIMUS
RUSSORUM IMPERATOR

Карл Моор. Портрет Петра I. 1717 г.

Одиннадцатилетний Петр был живым, красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 г. ему и его брату Ивану. Между тем как царь Иван в Мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами, рядом с ним, на таком же кресле, в другой Мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоецария, Петр смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлевских сцен 1682 г., либо слишком часто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье еще не окрепшего организма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом лице, в минуты раздумья или внутреннего волнения, появлялись безобразившие его судороги. Все это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сра-

зу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшем побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке.

Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один написан в 1698 г. в Англии, по желанию короля Вильгельма III, Кнеллером. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан голландцем Карлом Моором в 1717 г., когда Петр ездил в Париж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей 8-летней дочери Елизаветы с 7-летним французским королем Людовиком XV.

Парижские наблюдатели в том году изображают Петра повелителем, хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же пронизательным, иногда диким взглядом, и вместе политиком, умевшим приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Петр тогда уже настолько сознавал свое значение, что пренебрегал приличиями: при выходе из парижской квар-

тиры спокойно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином всюду, на Сене, как на Неве. Не таков он у К. Моора. Усы, точно наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера. В складке губ и, особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чувствуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни, спустя 8 лет его похоронившей.



Готфрид Кнеллер. Портрет Петра I. 1698 г.

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец – от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой.

Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых годах большим охотником до танцев. Он был обычным и веселым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта. Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осмат-

ривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому.

Охота к ремеслу развила в нем быструю сметливость и сноровку: зорко взглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоил ее. Ранняя склонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчетный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С годами он приобрел необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремесл. Впоследствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его, чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия: шляпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него

досуг на все эти бесчисленные безделки.

Успехи в ремесле поселили в нем большую уверенность в ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами – памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в Адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому возду-

ху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на свое здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами.

Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11–12 часов и, по окончании последнего блюда, уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освеженный им, возвращался к собеседникам, снова готовый есть и пить.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни, сделали его заклятым врагом всякого церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя

у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника.

Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми.

Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки (бумажная ткань. – *Прим. ред.*), выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского.

В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросши на

вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил себе также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками: «Царь не может жить в большом доме», – замечает этот иноземец.

Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с Петербургским; недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10–12 молодых дворян, большею частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях. Впрочем, в последние годы Петра у второй

его царицы был многочисленный и блестящий двор, устроенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Петр хотел окружить им свою вторую жену, может быть, для того чтобы заставить окружающих забыть ее слишком простенькое происхождение.

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям. В обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге.

Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы

с простыми матросами. Вместе с ними он пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам.

После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Он любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что устраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя «пить штраф», опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не задирали».



Н. Дмитриев-Оренбургский.

Ассамблея при Петре Великом. Потчевание провинившегося гостя кубком «Большого Орла»

На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез. Место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, – все это – создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник-царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания

подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – этого при всех не говорят».



Ассамблея при Петре I

Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других, прежде всего, требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог уверток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, воротившись из Венеции, по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расто-

ропным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой, и сказаться больным. Но передумал и решился откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже, мой друг, здесь», – сказал Петр. – «Виноват, государь, – отвечал Неплюев, – вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Петр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду; Бог простит: кто Богу не грешен, кто бабушке не внук? А теперь поедем на родину».

Приехали к плотнику, у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, велел же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски», – сказал Петр, засмеявшись. – «Нечем мне дарить много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то, живучи здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения, но Петр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси, это родная,

не итальянская пища». Но, добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла воспитать в нем этого уважения.

Природный ум, лета, приобретенное положение прикрывали потом эту прореху молодости; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на своем продолговатом лице силу петровского кулака. На большом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познаниями, не давая царю выговорить слова. Петр слушал-слушал хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо, молча отошел в сторону. Простота обращения и обычная веселость делали иногда обхождение с ним столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах. Приближенные, чуя грозу при виде этих признаков, немедленно звали Екатерину, которая сажала Петра и брала его за голову, слегка ее почесывая. Царь быстро засыпал, и все вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно держала его голову в своих руках. Часа через два он просыпался бодрым, как ни в чем не бывало. Но и неза-

висимо от этих болезненных припадков, прямой и откровенный Петр не всегда бывал деликатен и внимателен к положению других, и это портило непринужденность, какую он вносил в свое общество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки.

В торжественные дни летом в своем Летнем саду перед дворцом, в дубовой рощице, им самим разведенной, он любил видеть вокруг себя все высшее общество столицы. Он охотно беседовал со светскими чинами о политике, с духовными – о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревянных садовых скамейках и усердно потчужа гостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство порой становилось хуже Демьяновой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы ее пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал участников и участниц торжества, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разносился по аллеям, причем часовым приказывалось никого не выпускать из сада. Особо назначенные для того майоры гвардии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счастливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело си-

дели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивлению протестантского проповедника, никак не вообразившего, что это делается так грубо и открыто.

В 1721 г. на свадьбе старика-вдовца князя Ю. Ю. Трубецкого, женившегося на 20-летней Головиной, когда подали большое блюдо со стаканами желе, Петр велел отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, как можно шире раскрыть рот, и принялся совать ему в горло кусок за куском, даже сам раскрывал ему рот, когда тот разевал его недостаточно широко. В то же время, за другим столом, дочь хозяина, пышная богачка и модница княжна Черкасская, стоя за стулом своего брата, хорошо образованного молодого человека, бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы, принималась щекотать его. А тот ревел, как теленок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге.

Такой юмор царя сообщал тяжелый характер увеселениям, какие он завел при своем дворе. К концу Северной войны составилась значительный календарь собственно придворных ежегодных праздников, в который входили викториальные торжества, а с

1721 г. к ним присоединилось ежегодное празднование Ништадтского мира. Но особенно любил Петр веселиться по случаю спуска нового корабля: новому кораблю он был рад, как новорожденному детищу. В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих заграничных образцов.

Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки, какими вспрыскивали новосооруженного пловца. На корабль приглашалось все высшее столичное общество обоего пола. Это были настоящие морские попойки, те, к которым идет или от которых идет поговорка, что пьяным по колено море. Пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горячими слезами, что вот он, на старости лет, остался сиротой круглым, без отца, без матери. А военный министр, светлейший князь Меншиков, свалится под стол, и прибежит с дамской половины его испуганная княгиня Даша отливать и оттирать бездыханного супруга. Но пир не всегда заканчивался так просто. За столом вспылит на кого-нибудь Петр и, раздраженный, убежит на дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до его возвращения, и солдата приставит к выходу. Пока Екатерина не успокаивала расходившегося ца-

ря, не укладывала его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили и скучали.

Заключение Ништадтского мира праздновалось семидневным маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании Сената. Среди пира Петр встал из-за стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям дожидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со штрафом за уклонение (50 рублей, около 400 рублей на наши деньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока.

Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны. Но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого, потребность ли в грязном рассеянии после черной работы или непривычка обдумывать свои поступки. Петр старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возникла Коллегия пьянства, или «сумасброднейший, всешутей-

ший и всепьянейший собор». Он состоял под председательством натбольшего шута, носившего титул князя-папы, или «Всешумнейшего и Всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы». При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и постановления папы и рукоположения на разные степени пьяной иерархии.

Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия, «служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками», свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: «Веруеши ли?», так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос: «Пиеши ли?» Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве;

инакомудрствующим еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему – путь к венцу мученическому.

Бывало, на Святках компания человек в 200, в Москве или Петербурге, на нескольких десятках саней, на всю ночь до утра, пустится по городу «славить». Во главе процессии – шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре. За ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление; «Пили при этом страшно», – замечает современный наблюдатель. Или, бывало, на первой неделе Великого поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках.



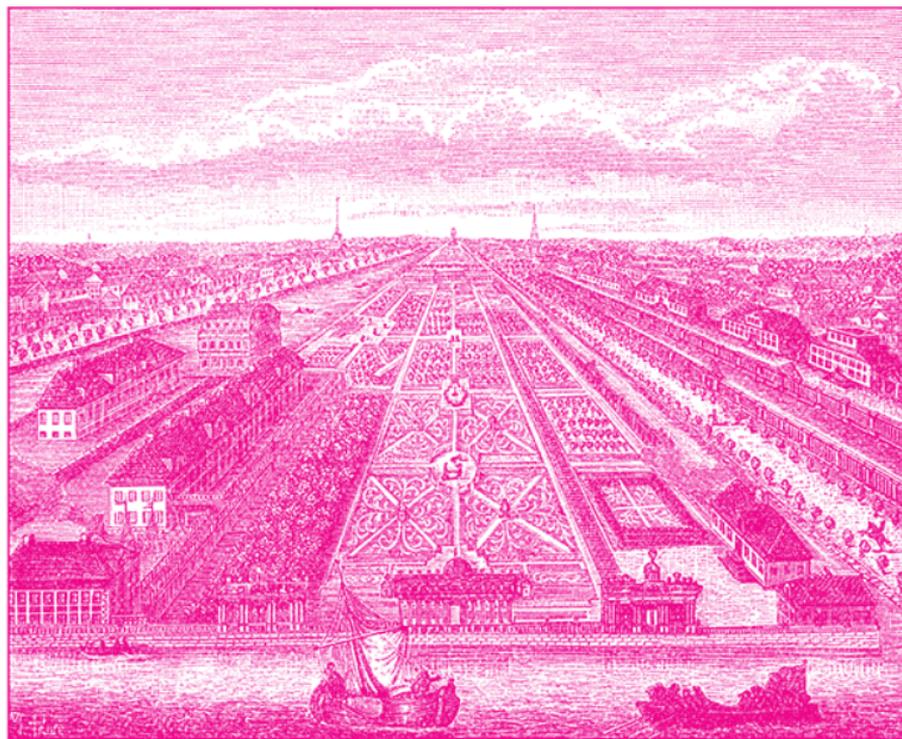
Маскарад в Москве в 1722 г. по случаю празднования Ништадтского мира

Раз на Масленице в 1699 г., после одного пышного придворного обеда, царь устроил служение Бахусу. Патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый уже нам бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колена гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому как делают архиереи дикирием и трикирием; потом с посохом в руке «владыка» пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелища этой одури и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы бы-

ли видеть в этих безобразиях политическую и даже народно-воспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства: царь-де старался сделать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение; доставляя народу случай позабавиться, пьяная компания приучала его соединять с отвращением к грязному разгулу презрение к предрассудкам. Трудно взвесить долю правды в этом взгляде; но все же это – скорее оправдание, чем объяснение.

Петр играл не в одну церковную иерархию или в церковный обряд. Предметом шутки он делал и собственную власть, величая князя Ф. Ю. Ромодановского королем, государем, «вашим пресветлым царским величеством», а себя – «всегдашним рабом и холопом Piter'om» или просто по-русски Петрушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше настроения, чем тенденции. Игривость досталась Петру по наследству от отца, который тоже любил пошутить, хотя и остерегался быть шутком. У Петра и его компании было больше позова к дурачеству, чем дурацкого творчества. Они хватали формы шутовства откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрос-

лых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией как учреждением: просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей. Можно не удивляться крайней беззаботности о последствиях, о впечатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему приходится иметь дело не с одним бородачом, как его отцу, а с тысячами, но с этой стороны можно было ждать больше неприятностей, чем опасностей.



Летний сад и дворец в Петровское время. С гравюры 1716 г.

К большинству тогдашней иерархии был приложим укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезнее был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе-антихристе. Но и с этой стороны надеялись на охранительную силу кнута и застенка, а об общественной стыдливости в тогдашних правящих сферах имели очень слабое помышление. Да и народные нравы если не оправдывают, то частью объясняют эти непристойные забавы. Кому неизвестна русская привычка в веселую минуту пошутить над церковными предметами, украсить праздное балагурство священным изречением? Известно также отношение народной легенды к духовенству и церковному обряду. В этом повинно само духовенство: строго требуя наружного исполнения церковного порядка, пастыри не умели внушить должного к нему уважения, потому что сами недостаточно его уважали. И Петр был не свободен от этой церковно-народной слабости. Он был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, расстройстве церкви, чтил и знал церковный

обряд, вовсе не для шутки любил в праздники становиться на клиросе в ряды своих певчих и пел своим сильным голосом. И, однако же, включил в программу празднования Ништадтского мира в 1721 г. непристойную свадьбу князя-папы, старика Бутурлина, со старухой, вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутливой обстановке в Троицком соборе.

Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которого напоминал пьяной коллегии евангелие? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубое чувство властных гуляк, вскрывавшее общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пастырского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести.

Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставать хорошие картины и статуи в Германии и Италии: он положил основание художественной коллекции, которая теперь помещается в петербургском Эрмитаже. Он имел вкус особенно к архитектуре. Об этом гово-

рят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона, «прямой диковины», как называл его сам Петр, смадивший его у французского двора за громадное жалованье. Построенный этим архитектором петергофский дворец Монплезир, со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля: он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа; упомянутый его петергофский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные.

Привыкнув жить кое-как, в черной работе, Петр, однако, сохранил умение быть равнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря. Он бросал большие деньги на загородный дворец с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками и т. п.

Он обладал сильным эстетическим чутьем; только оно развивалось у Петра несколько односторонне, со-

образно с общим направлением его характера и образа жизни. Привычка вникать в подробности дела, работа над техническими деталями создала в нем геометрическую меткость взгляда, удивительный глазомер, чувство формы и симметрии.

Ему легко давались пластические искусства, нравились сложные планы построек. Но он сам признавался, что не любит музыки, и с трудом переносил на балах игру оркестра.

По временам на шумных увеселительных собраниях Петровой компании слышались и серьезные разговоры. Чем шире разворачивались дела войны и реформы, тем чаще Петр со своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более привлекательной стороны.

Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов венгерского, Петр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить

регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести. Сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава Богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу.

Значит, к концу Шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще сделать. Татищев в своей «Истории Российской» передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников. Дело было в 1717 г., когда блеснула надежда на скорое окончание тяжелой войны. Сидя за столом, на пиру, со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, его делах в Польше, затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон.

Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать

отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в Сенате, и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен; а теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю».

Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец. Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное

дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отца сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать: конец войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный! Вмале был еси мне верен, над многими тя поставлю».

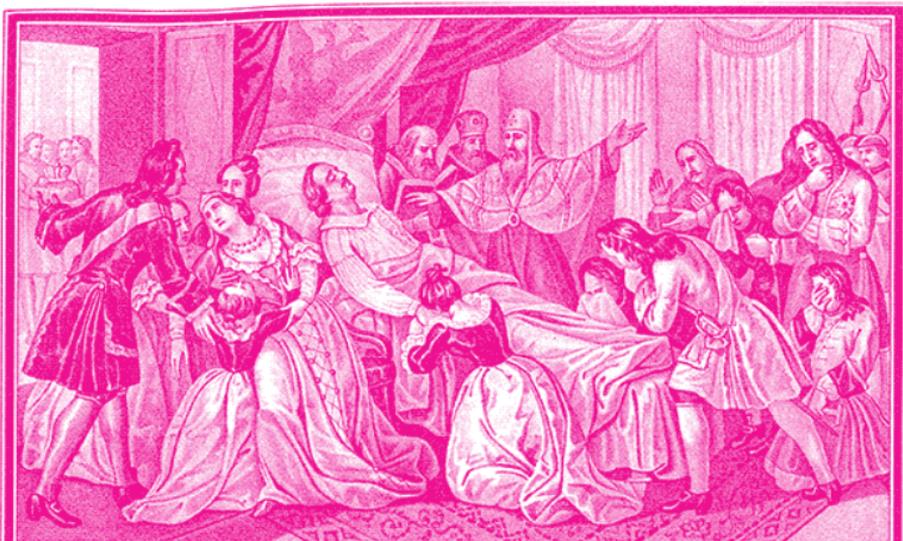
«Меншикову и другим сие весьма было прискорбно – так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».



Петербург при Петре Великом

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем

следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра.



КОНЧИНА ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 1725 ГОДА.

Сост. В. Чернышев.

Печать у Давыда.

Рис. на зам. Ив. Кавалера.

Политическое сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная пустота сознания дол-

го ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства занятий, ручная черная работа мешали размышлению, отвлекали мысль от предметов, составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре выросла власть без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни, бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными качествами несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью.

Уже в 1698 г. английский епископ Бернет заметил, что Петр с большими усилиями старается победить в себе страсть к вину. Как ни мало был Петр внимателен к политическим порядкам и общественным нравам Запада, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и креп-

нут не кнутом и застенком, а жестокие уроки, данные ему под первым Азовом, под Нарвой и на Пруте, постепенно указывали ему на его политическую неподготовленность, и по мере этого начиналось и усиливалось его политическое самообразование. Он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о праве и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек. И если несчастья молодости помогли ему оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь от единственного крепкого направителя московской политики, инстинкта произвола.

До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник Петра, Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения: он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить

народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости.

Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к другим. Но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, рабочими орудиями, чем с людьми. А потому и с людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен. Но не умел и не любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его – свой собственный дом, свою семью, где он бывал гостем. Он не ужился с первой женой, имел причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с сыном, не уберег его от враждебных влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование династии.

Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ро-

лей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династий; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой.

Впечатление смерти Петра. Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве, в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой «такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал». Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами, в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос: что-то будет дальше? Под собой, в народной массе, реформа имела ненадежную, зыбкую почву.

Отношение народа к Петру. Во все продолжение преобразовательной работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2) представлялась народу непонятной ломкой вековых обычаев, старинного уклада русской жизни, освященных временем народных привычек и верований.

Этими сторонами реформа и возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому отношению два впечатления, вынесенные народом из событий XVII в. Тогда народ в Московском государстве видел очень много странных вещей: сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть. Потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный

гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немца в государство, антихриста в церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда гласила, что Петр – самозванец, а другая, что он – антихрист.

Сказание о царе-самозванце. Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорного противодействия реформе со стороны народа, Петр для подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по имени подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа до нас дошло немало любопытных дел, которые служат материалом для изучения народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю, прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя притом редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мысль, основной мотив легенды о

самозванстве Петра подсказали те наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра.

Петр, прежде всего, дал народу почувствовать свою деятельность новыми государственными тягостями. Государственные тягости не были новостью для народа: их больно чувствовали и в XVII в., но тогда за них винули не самого царя, а его правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко являлся перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом неземного величия. Все, что делалось непопулярно в государстве, приписывалось тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, т. е. боярскому и приказному правительству. Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на которой скрывались его предшественники, вошел в непосредственное соприкосновение с народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом, каким представлялись ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем.

Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в ко-

роне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя.

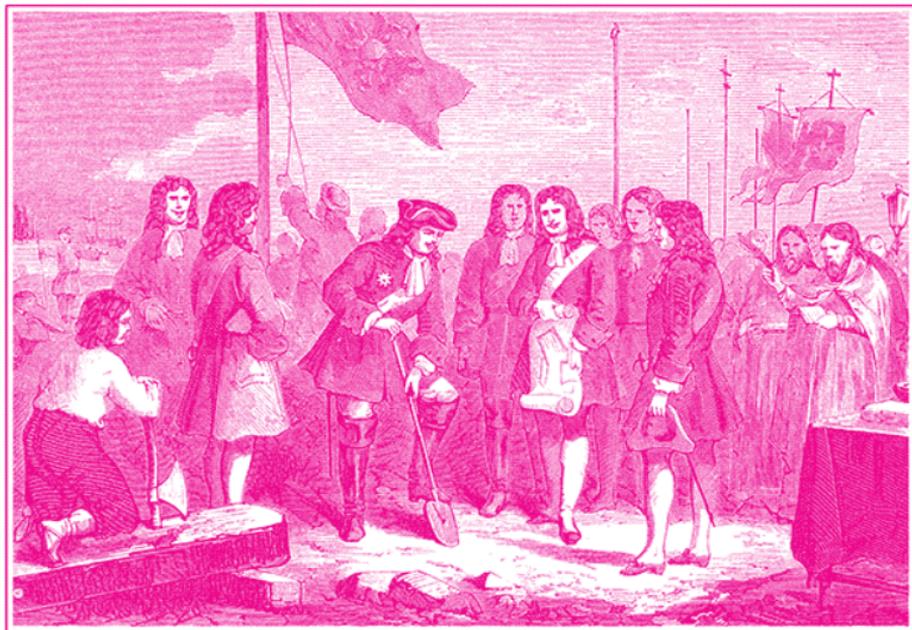


Сторожа у городских ворот выполняют указ Петра о ношении платья западного образца. Гравюра XVIII в.

Вопрос вызвал усиленную работу народного ума,

точнее, народной фантазии. Бумаги Преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного воображения, развивавшего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались: «Как Бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали; тягота на мир, рубли да полтины да подводы; отдыха нашей братье крестьянству нет». Сын боярский, подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями: «Какой он царь? Всю нашу братию на службу выволок, а людей наших и крестьян в рекруты побрал! Никуда от него не уйдешь, все на плотях распропали (на морских постройках); и как это его не убьют? Как бы убили его, так бы и служба миновалась, и черни стало бы легче». Солдатские жены развивали свою особую консервативную публицистику: «Какой он царь! Мужей наших в солдаты побрал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил». — «Какой он царь! — подхватывал холоп, — он враг, оморок мирской; однако сколько ему по Москве ни скакать, а быть ему без головы». — «Мироед! — вопияли другие. — Весь мир переел, все переводит добрые головы; только на него, кутилку, переводу нет».

Этому хоровому всеобщему протесту сам Петр помог перейти от вопроса о его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии.



Закладка крепости Санкт-Петербурга

Царь вел странный образ жизни и делал странные дела: переказнил стрельцов, сестру и жену запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал в Преображенском с иноземцами, после нарвского поражения колокола стал снимать с церкви и переливать в пушки. Монах грозил: все-де это даром не пройдет, не добром кончится все это. Отсюда и извлекли от-

вет на поставленный вопрос. Прежде всего, поспешили догадаться, что царя немцы испортили; нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «Немцы обошли его: час добрый найдет – все хорошо, а в иной час так и рвет и мечет: вот уж и на Бога наступил, с церковью колокола снимает». Притом заговорило раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращающегося наплыва и влияния иноземцев. Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос: казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и порченный, который не дорожит народными обычаями и верованиями.

Здесь наступает вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ, тоже в виде вопроса: да русский ли он? «Он сын немки», – говорили одни. – «Да Лаферта», – подсказывали другие. Так и додумались до сказания о самозванстве Петра: царица родила девочку, которую подменили немчонком. Однажды полиция подслушала на портомойне в Москве такую политическую беседу: крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли: какой он царь! Родился от немки беззаконной; он подмененный, подкидыш; как царица Наталья Кирилловна отходила сего света, и в то число она говорила ему: ты-де не сын мой, ты подменный; вот велит носить немецкое платье – знат-

но, что от немки родился.

От этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явления времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества: бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою, Авдотью Федоровну, отставил, немку Монсову взял, проклятый табак курить велел – все по возвращении из чужих краев. Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии.

Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл XII, покидая в 1700 г. Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома сестру свою, Ульрику-Элеонору, которая впоследствии, по смерти брата, стала его преемницей. Слышали также, что в Риге шведское начальство в 1697 г. наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание. Петр поехал за границу – это так; да Петр ли воротился из-за границы? В ответ на этот вопрос уже к 1704 г. сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство (Стокгольм). А то Стекольное царство в немец-

кой земле держит девица, и та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с тое сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей говорить ее князья и бояре: пожалуй, государыня, ради тако-го дня выпусти его, государя. Она им сказала: подите посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей: «Томен, государыня». — «Ну, коли томен, так вы его выньте». И они, его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвоздья да в тое бочку хотели его, государя, положить. Уведал про то стрелец и, прибежав к государю, сказал: «Царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится». И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре да того стрельца, с постели схватя, положили в тое бочку и бросили в море. Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что случилось дальше с государем. Но потом к сказанию прицепили и конец, стали говорить в народе: это не наш государь, это немчин; наш государь в немцах в бочку закован да в море пущен. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась: Петра считали погибшим при жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что царствовавший государь был немчин, а настоящий царь освободился

из немецкого плена, именно освободил его обманом русский купец, бывший в Стекольном царстве. Рассказчик добавлял: «И как это государь до сей поры не объявится в своем государстве?»

Сказание о царе-антихристе. Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда, о Петре-антихристе, возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г. последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен был русский православный календарь, велено вести летосчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира и новый год праздновать не 1 сентября, по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо

вторгалось в церковный порядок.

Люди, и без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепнулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов, пришел в Москву с изветом, т. е. с доносом, – на кого бы вы думали? – на самого государя, что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть. Во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит Ростовский, в воскресный день идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды бреют. «А что отрастет, отсеченная ли голова или сбритая борода?» – переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности браться для душевного спасения, ибо сбрить бороду – значит потерять образ и подобие Божие.

Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии Божиим в человеке. Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в

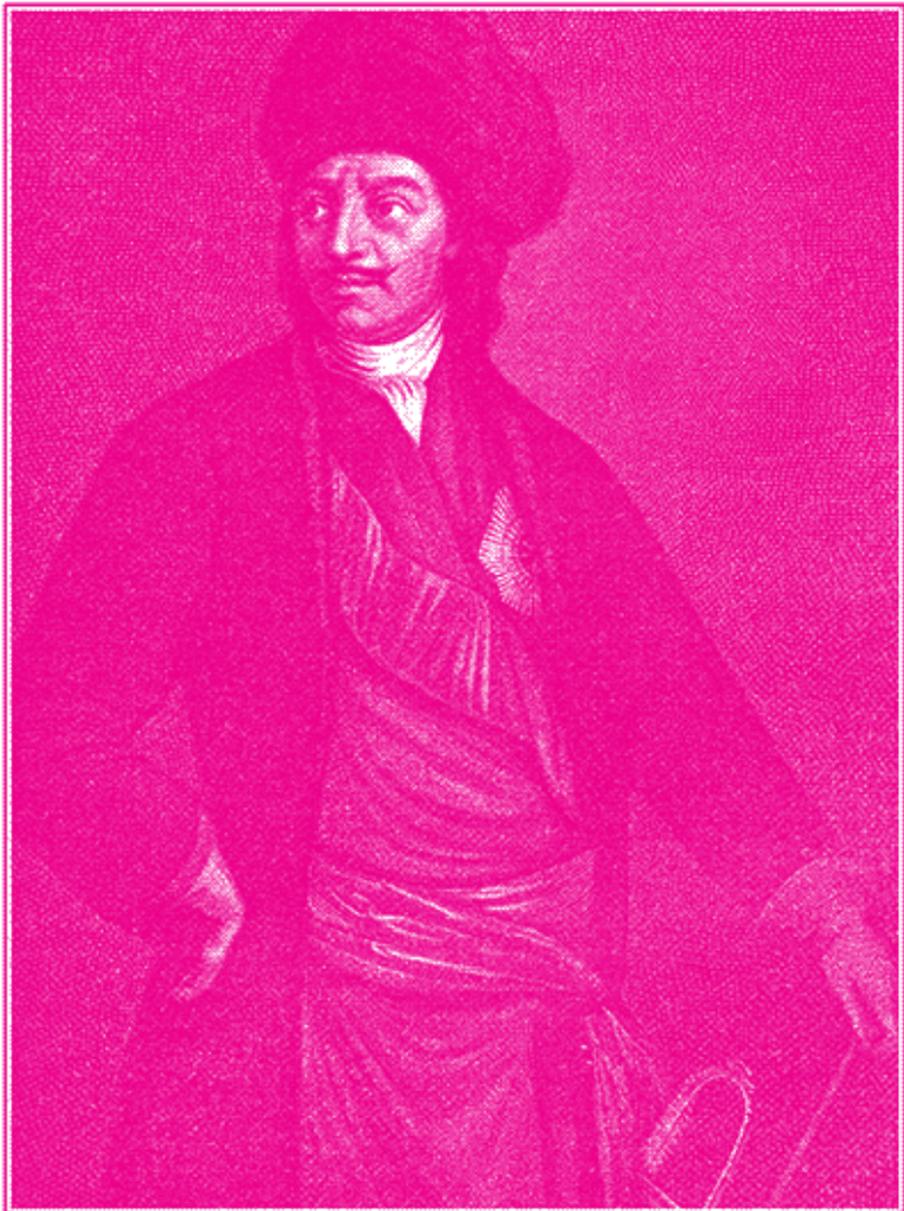
разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души.

Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 г. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин князь Хованский плакался Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на олонецком и за-

онежском Севере, в краю, наиболее тронутом расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с «еретической церковью» и «антихристовым государством» страшную форму вольного страдания за благочестие – самосожжение массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению, насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675–1691 гг. На глухом поморском Севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде: напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки.

В одном погосте Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедшие из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: «Вот ныне велят летопись (летосчисление) вести от Рождения Христова и платье носить венгерское». Священник прибавил: «И я слышал в волости, что у Великого поста неделя будет убавлена, а после Фоминой учнут в среды и пятки весь год молоко есть». Имея в виду последнее средство спасения поморцев, самосожжение, дьячок сказал: «Как пришлют эти указы к нам в погост, и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду с ними в леса жить и гореть». Свя-

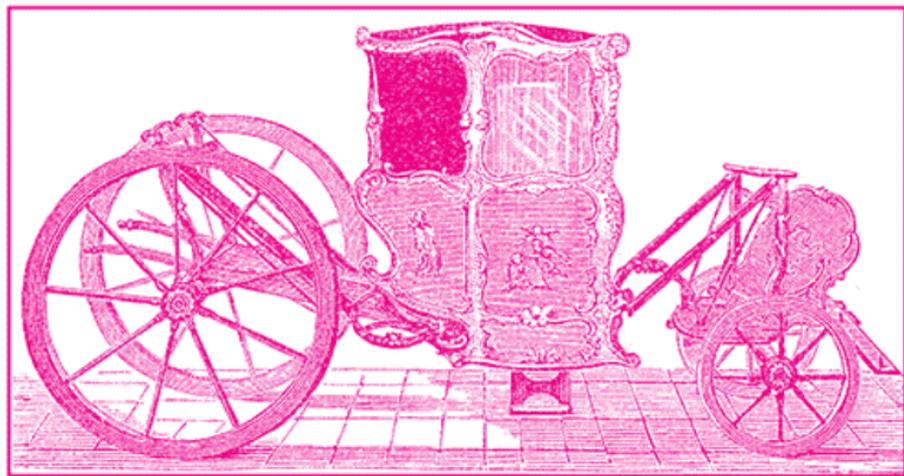
ценник прибавил: «Возьми и меня с собой; знать, житье ныне к концу приходит». Дело относится к 1704 г.



Петр Великий

В том же году ладожский стрелец, возвращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем, который завел с ним такую беседу: «Ныне службы частые; какое ныне христианство! Ныне вера все по-новому: вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Когда зашла речь про государя, старец продолжал: «Какой он нам, христианам, государь! Он не государь, а латыш, поста не соблюдает. Он льстец (обманщик), антихрист, рожден от нечистой девицы. Что он головой запрометывает и ногой запинается, и то, знамо, его нечистый дух ломает. Он и стрельцов переказнил за то, что они его еретичество знали, а стрельцы прямые христиане были, не бусурмане. Вот солдаты – так те все бусурмане, поста не соблюдают; ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях (париках) и бороду бреют». Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр – царь, от царского племени. Но старец возразил: «У него мать нешто царица? Она еретица была, все девок родила». Старец был поморский подвижник древнего благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал: «Я из Заонежья, из лесов; ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на лыжах». В этом рассказе живо

вскрывается настроение умов в Северном Поморье.



Карета Петра I

В 1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде (Курской губернии). Два священника разговорились, и один сказал: «Бог знает, что у нас в царстве стало. Вся наша Украина от податей пропала; такие подати стали – уму непостижные, а вот теперь и до нашей братии священников дошло, начали брать с бань, изб, пчел, чего отцы и прадеды не слыхивали; никак, в нашем царстве государя нет?» Этот священник в церковном молитвословии вычитал сведение, что антихрист родится от недоброй связи, жены скверной и девицы мнимой, от колена Данова. Он и задумался над тем, что это за колена Даново и где

это родится антихрист, уж не на Руси ли? Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет антихриста: «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро родится антихрист от племени Данова». Аника Акимыч подумал и ответил: «Антихрист уже есть; у нас в царстве не государь царствует, а антихрист. Знай себе: Даново племя – это царское племя, а ведь государь родился не от первой жены, от второй; так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая». Так и пошло сказание о царе-антихристе.

Значение обоих сказаний для реформы. Оба этих сказания, разумеется, ставили народ в самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противощерковные и противонародные замыслы, какие чудились суеверной мысли в его деятельности. При таком отуманенном настроении реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Немногие в народе, выдавшие царя на работе, могли оказать лишь слабое противодействие темным тол-

кам и пересудам.

До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края, передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на Севере, как он работал, заключил свой рассказ словами: «Вот царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще мужика работал». Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять внутренне нравственную силу, которою приводилась в движение эта видимо беспорядочная и порой опрометчивая деятельность. Один из прибыльщиков (Иван Филиппов) в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк, – назвал его «многомысленной и беспокойной главой», умеющей понимать того, кто ищет «правды, а народу оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно освящали порожденное государственными тягостями и немецкими новшествами общее недовольство всех сословий, о

котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не ждали, за недостатком вождя и в расчете на рабскую покорность народа. Боевые мятежные силы, какие были налицо, израсходовались на прежние бунты – стрелецкие, астраханский, булавинский.

Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра, стрельцы-раскольники рассказывали: «Когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: “Еще бы мне жить было, да мир меня проклял”». О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.

Среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неумение, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, об-

думывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумье, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянно деловом общении с множеством людей, среди непрерывной сменяемости впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.

Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманый план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышле-

нию об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это – неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.

Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частно-

го удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у Земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может.

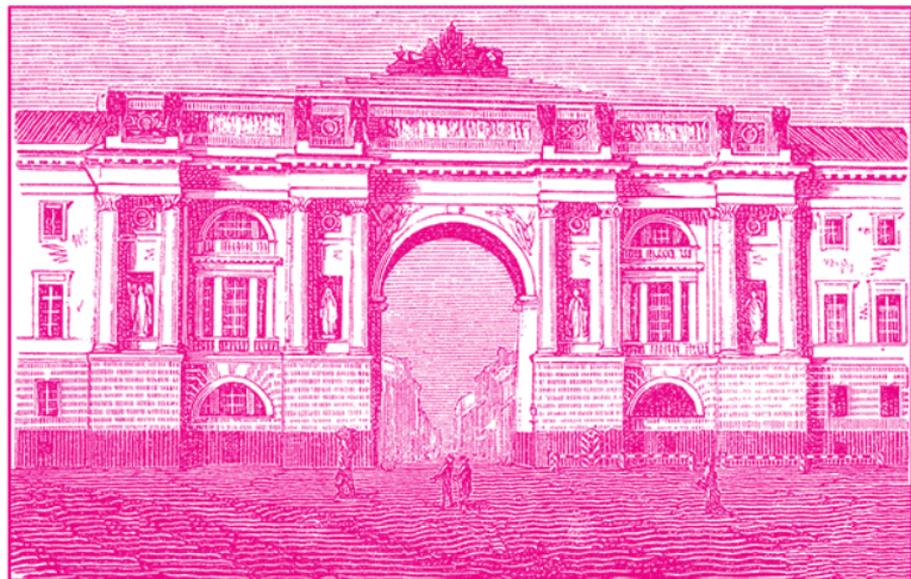
Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править – значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, Земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политическо-

го приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, – это не политическое право Боярской думы или Земского собора, а их верноподданническая обязанность.

Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам – только боярам, а не Земскому собору, – его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда – ни в Боярской думе, ни на Земском соборе – не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать – такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.

Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей. А

здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей Ассирийских.



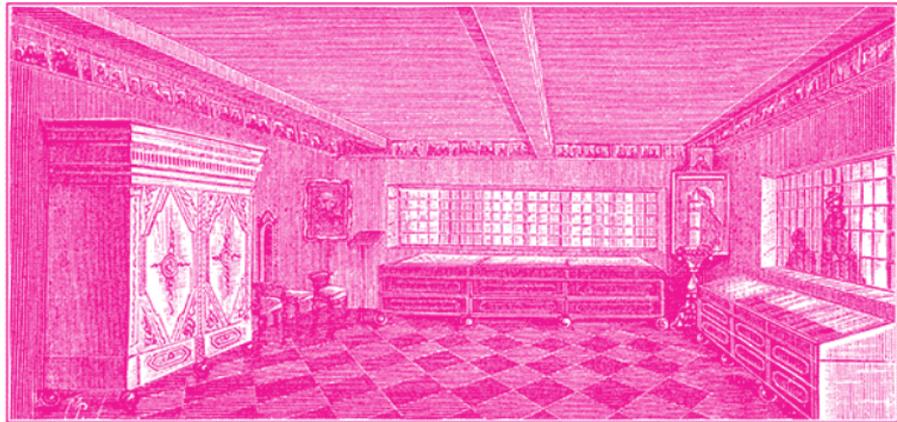
Сенат и Синод в Санкт-Петербурге

Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него не доставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную, сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.

В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли, удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо. Только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, кото-

рые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: распорядку, внутреннему благоустройству, и обороне, внешней безопасности государства.

В этом и состоит благо отечества, общее благо родной земли, русского народа или государства – понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие – средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном».



Убранство домика Петра Великого в Петербурге

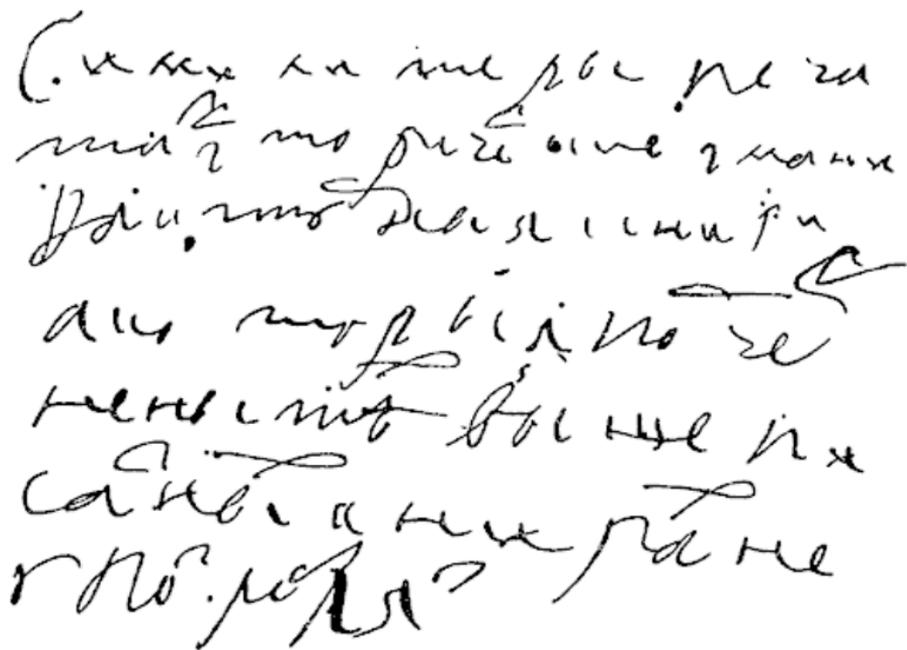
Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петергофской дороге: «Глупый человек, – сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении, – ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ла-

дожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пеших о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов – плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом – простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопаными чулками – все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».

Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики.

Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою

за други своя. Но под ближними он разумел, прежде всего, своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а *другами своими* считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены.



Петр Великий
Государь
и Царь
России

Автограф Петра Великого

В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защи-

щал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел.

«Что вы делаете дома? – с недоумением спрашивал он иногда окружающих. – Я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! Он наших нужд не знает, – жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел, – как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.

Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде

и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, – довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет Шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя.



Князь Ф. Ю. Ромодановский

Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Минах, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора.

Все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые, из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого,

какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, риторикой и священной философией, учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками – артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».



Граф П. И. Ягужинский

Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.

Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их

нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним. И, таким образом, получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлось по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может.

Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что, после семилетнего правления царевны Софьи, введённого «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство ве-

ликое и кража государственная, что доньше (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян.

Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все ворует, только один больше и примет-

нее другого».

Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел склонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что *всяк человек есть ложь*, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во все-народной кунсткамере: между людьми они более приметны».

Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу-сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия та-

кой способ исправления, в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать».

В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и глядя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливей их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямяство». Это упрямяство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу?» – «Хорошо, ваше величество!» – «Так-то, Андрей, кости

я точу долотом изрядно, а вот упрямец обточить дубиной не могу».



Князь А. Д. Меншиков

С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском, командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал.

Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фронт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрюдер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1 300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных камней на 1 1/2 млн руб. (около 13 млн) и многомиллионных вкладов в зарубежных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца. Но такое богатство едва ли могло состояться из одних царских щедрот да из барышей Беломорской компании моржового промысла, в которой князь состоял пайщиком.



А.П. Волынский

«Зело прошу, – писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше, – зело прошу, чтобы вы такими малыми прибутками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибутков», предпочитая им большие.

Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн руб. (около 10 млн на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного.

Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчи-

ненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видел, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостоивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно.

А. П. Волынский после рассказывал, как во время Персидского похода, на Каспийском море Петр, по наговорам недругов, прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствие, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но, – добавлял рассказчик, – государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою, и назавтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем

дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»

Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».



Б.П. Шереметев

Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся – «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского», или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. – «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» – «Нет, государь, я здорова». – «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». – «Вылечил!» – с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.



П.А. Толстой

При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески, келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками. А участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче – ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф – опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задира».

П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и

Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но во время покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодуществовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившись от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова – как бы с плеч не свалилась». – «Не бойтесь, ваше величество, – отвечал вдруг очнувшийся Толстой, – она вам верна и на мне тверда». – «А! Так он только притворился пьяным, – продолжал Петр, – поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), – так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плечи, продолжал: «Голова, голова! Кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел».



Франц Лефорт

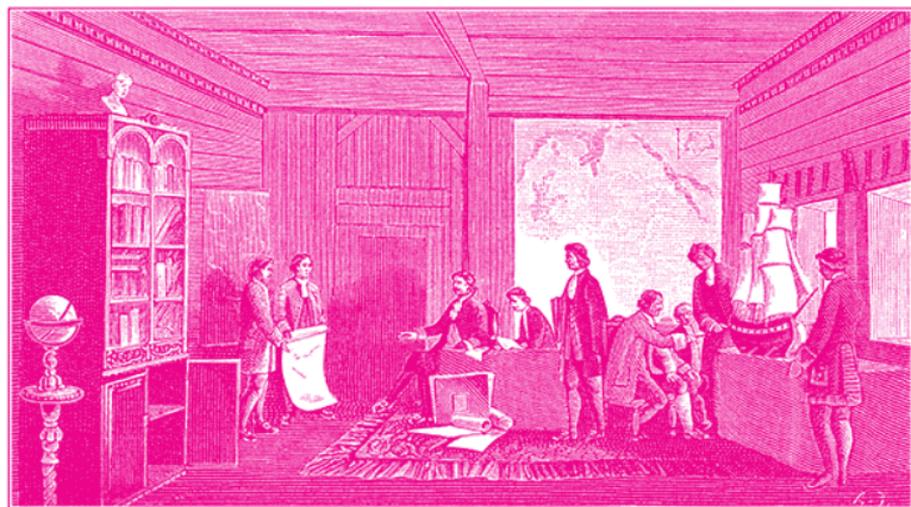
Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, – все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник – царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания

подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – того при всех не говорят».

Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь, тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, вспыхнув на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности.

Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время

потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит. И вместе с тем, желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов. Он был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского.



***Н. Каразин.* Петр I экзаменует учеников, возвратившихся из-за границы**

Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды, на просьбу нескольких военных о повышении их чинами, Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде Богу, авось, дело сладится».

Стороннему наблюдателю все это могло показать-

ся пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем; только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалованья, причем говаривал:

«Эти деньги – мои собственные; я их заслужил и могу употреблять, как хочу; но с государственными доходами надо поступать осторожно: в них я должен дать отчет Богу».

Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных, внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, «басу» (корабельному мастеру) или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере: опасно было шутить службой, когда ею не

шутил сам Петр Михайлов.

В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами «братства не иметь», не братья: это повело бы к поблажке, распущенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности: в нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека; но она не баловала, а обзывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга. Напротив, чем выше ценил он дельца, тем взыскательнее был к нему, и тем доверчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх, по собственному соображению и почину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного «как изволишь».

Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсгофского победителя шведов Б. Шереметева, встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя-героя; но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к то-

му же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш в 1704 г., Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя: «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметев, не зная, что делать, за неимением инструкций, отвечал на запрос царя, что, согласно указу, никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам, в случае их неисправности, Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямоотой. В 1705 г., задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда Двиной товары. Князь Репнин по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: «Нерг, сегоднѣ получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шею заплатить; впредь же, аще единая щѣпа пройдет, ей-Богом клянусь, без головы будешь».

Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланты и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одною из первейших обязанностей

государя. За своим обеденным столом он пивал тост «за здравие тех, кто любит Бога, меня и отечество», и сыну вменял в непрременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие.

Князь Ф. Ю. Ромодановский, страшный начальник тайной полиции, «князь-кесарь» в шуточной компанейской иерархии, «собой видом как монстра, нравом злой тиран», по отзыву современников, или просто «зверь», как величал его сам Петр в минуты недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только «любил пить непрестанно и других поить да ругаться»; но он был предан Петру, как никто другой, и за то пользовался его безмерным доверием и, наравне с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым, имел право входить в кабинет Петра без доклада – преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задушевно-теплое выражение. Раз, в разговоре с лучшими своими генералами, Шереметевым, М. Голицыным и Репниным, о славных полководцах Франции, он с одушевлением сказал: «Слава Богу, дожил я до своих Тюреннов, только вот Сюллия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб.

Своих сподвижников Петр не забывал и на чужби-

не. В 1717 г., осматривая укрепления Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за Испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в отечестве, среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметеве (умер в 1719 г.), Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас; но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам – Лефорту, Шеину, Гордону, Шереметеву, говоря о них: «Сии мужи верностию и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сению древнего святого князя, Невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но, за смертью императора, дело не состоялось.

Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий, и хо-

рошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям, хотя бы только понимали, если уж не могли в душе сочувствовать ни ему самому, ни его делу. Да и самое это дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех заделало, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия Шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки.

В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, к каким редко обращаются в минуты отдыха много занятые люди. Современники записали почти только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно: говорили о Библии, мощах, безбожниках, народных суе-

вериях, Карле XII, заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь и о предметах, более им близких, практических, о начале и значении того дела, которое они делали, планах будущего, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаянию которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала мысль, воспитывала политическое сознание.

Петр, особенно к концу царствования, очень интересовался прошлым своего отечества, заботился о собирании и сохранении исторических памятников, говорил ученому Феофану Прокоповичу: «Когда же мы увидим полную историю России?», неоднократно заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка мимоходом вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись? Но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание, каждое набегующее впечатление получало практическую обработку.

Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблюдений, вынесенных им из знакомства с положением России, как только он начал понимать его. Он ви-

дел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знание и искусство; видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей: «Разумным очам, – как он писал сыну, – к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли». Вывести Россию из этого двойного затруднения, пробиться к европейскому морю и установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз брошенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть, – это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра.

Однажды, в присутствии графа Шереметева и генерал-адмирала Апраксина, Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание сделать то же против врагов христианства, вероломных турок, и отомстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 г., за год до первого Азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное

море, и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение города Архангельска породило в нем охоту завести и там строительство судов для торговли и морских промыслов. «И вот теперь, – продолжал он, – когда при помощи Божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе и славе государства». В конце жизни, осматривая работы на Ладожском канале и довольный их ходом, он говорил строителям: «Видим, как Невой ходят к нам суда из Европы; а когда кончим вот этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и азиаты».



Корабль «Предестинация», построенный Петром в Воронеже в 1698–1700 гг.
С гравюры Схонбека. 1701 г.



А. Моравов. Прорытие Ладожского канала

План канализации России был одною из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами, Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолоцкая система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным

законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича-Черкасского, между прочим, с целью разведать и описать сухой и водный, особенно водный, путь в Индию. За несколько дней до смерти, вспомнил он давнюю свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию Ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию Камчатской экспедиции Беринга, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой, – вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лейбниц. Передавая документ Апраксину, он говорил: «Нездоровье заставило меня сидеть дома; на днях я вспомнил, о чем думал давно, но чему другие дела мешали, – о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что найти эту дорогу возможно. Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции».

Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежало не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и

об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра, с первых лет царствования по извержению Софьи, сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и Немецкой слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 г. хоронил Гордона и Лефорта. Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в Азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 г., сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб; при погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал предстоящим: «Я даю ему только горсть земли, а он мне дал целое пространство с Азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Лефорта: сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев; а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь минутной отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился

и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Какие ненавистники! Но я научу вас почитать достойных людей. Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в могилу!» Но Гордон и Лефорт были исключительные иностранцы: Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинства «дебошана французского», как называл его князь Б. Куракин; готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили», – говорил о нем Петр впоследствии (за то и пошел в народе слух, что Петр был сын «Лаферта да немки беззаконной», подкинутый царице Наталье). Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменять их русскими. Уже в манифесте 1705 г. он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами «желаемого не возмogli достигнуть», и предписывает более строгие условия

приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско; а с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви, человеком деловитым, но «дерзновенником и досадителем», как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом «с неприязнью» отослать обратно.

Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз, при шутовом столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатым господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о брадобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в Царство Небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без

бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, и упрямота, с каким их отстаивали.

Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, выдавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью Провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предпи-

сывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом Божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит, – гласила программа, – чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло отзвук одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».

В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть Шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Поэтому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и, прежде неизвестные в свете, ныне почитаемы стали», – как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать князю Я. Ф. Долгорукому, самому правдивому законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил

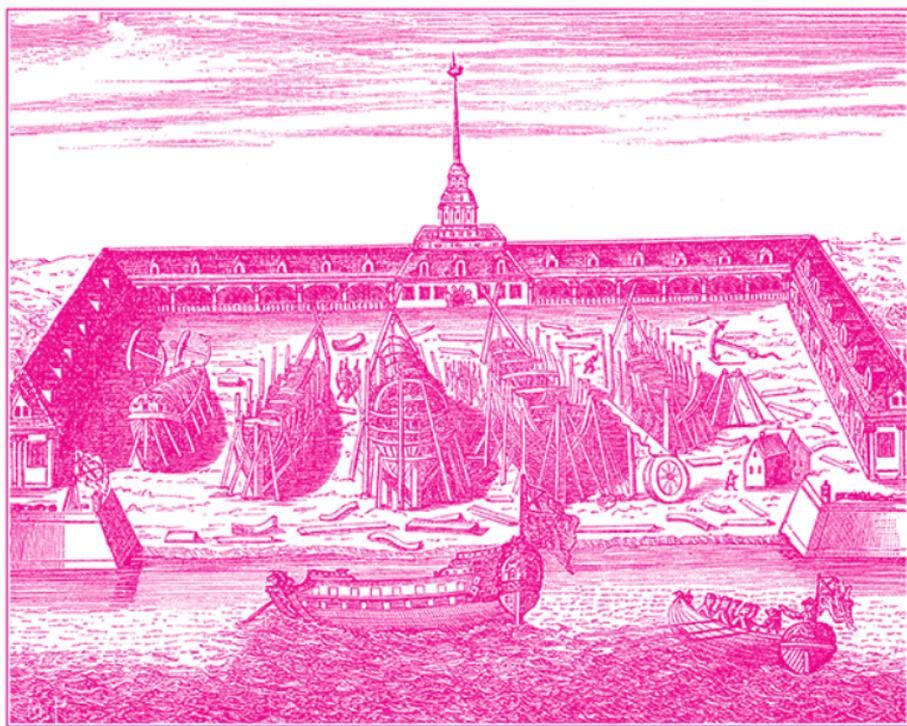
о князе: «Князь Яков в Сенате прямой мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо».

В 1717 г. блеснула, наконец, надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире со Швецией и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, его делах в Польше, затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах

отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду».

Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец. Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это – ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам.

В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать.



Адмиралтейство. С гравюры 1716 г.

Потому у мудрого государя не может быть глупых

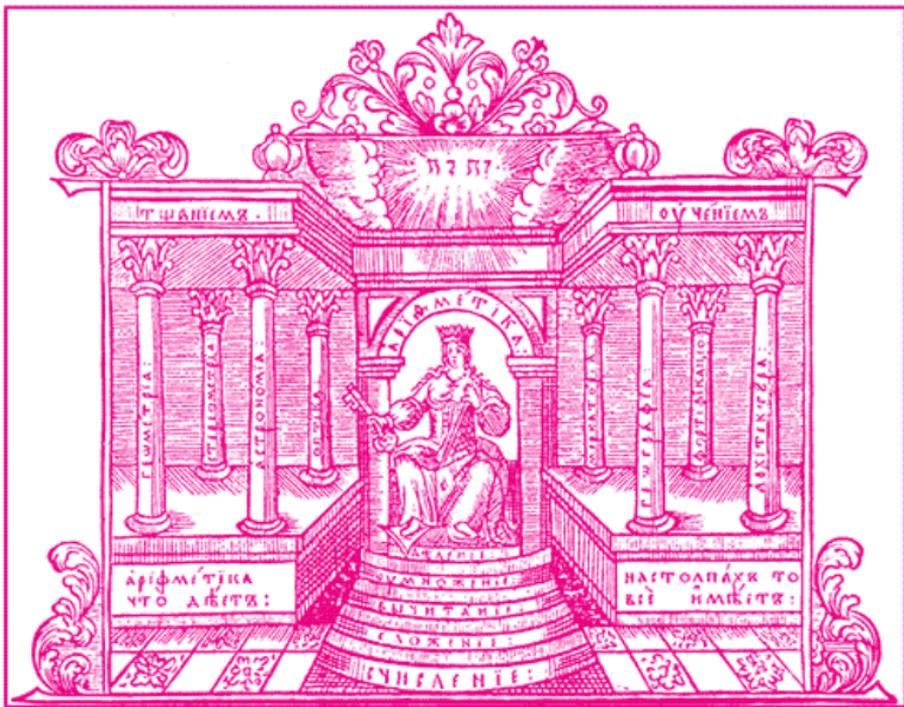
министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить».

Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный! Вмале был еси мне верен, над многими тя поставлю». «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, – так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели». Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде, князя Якова, к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».

Петра занимало не соперничество с отцом, не счёты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все, сказанное на пиру князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно Уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и зна-

чение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это, и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 г., еще в 1700 г. приказав пересмотреть и пополнить Уложение новоизданными узаконениями, а потом, в 1718 г., вскоре после описанной беседы, предписал свести русское Уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что, по мысли Петра, было нужно. Законодательство – только часть предстоявшего дела. Пересмотр Уложения заставил обратиться к шведскому законодательству, в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем. Для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл «науками и искусствами». Это значило бы вечно жить чужим умом, «подобно молодой птице в рот смотреть», по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была

всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая «вонючий» Париж, он думал, о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств. Рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому; желание мое – насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще».



М. Пневский. Аллегория математики. Заставка к «Арифметике» И. Магницкого. 1703 г.

Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 г. инструкцию Камчатской

экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, «ограждая отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусство и науки». Беспокойно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах – если только они были сказаны – о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю.

В 1724 г. лейб-медик Блуменрост просил отправлявшегося, по поручению Петра, в Швецию Татищева подыскивать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищите семян, – возразил Татищев, – когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такую притчу. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные водой озера и болота у соседей, он начал, с их согласия, канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготавливать, и хотя при жизни

не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в С.-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами, и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь неоставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении – белый лист бумаги, по выражению философа, или непечатое поле, где надо все водить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избежать недостатков и ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.

Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 г.; но в письме, по-

сланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение, – писал философ в этой приписке, – по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию, и потому избрало ваше величество орудием, так как Вы можете и из Европы и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на ту же мысль как бы вскользь высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича: после многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла, наконец, и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру.

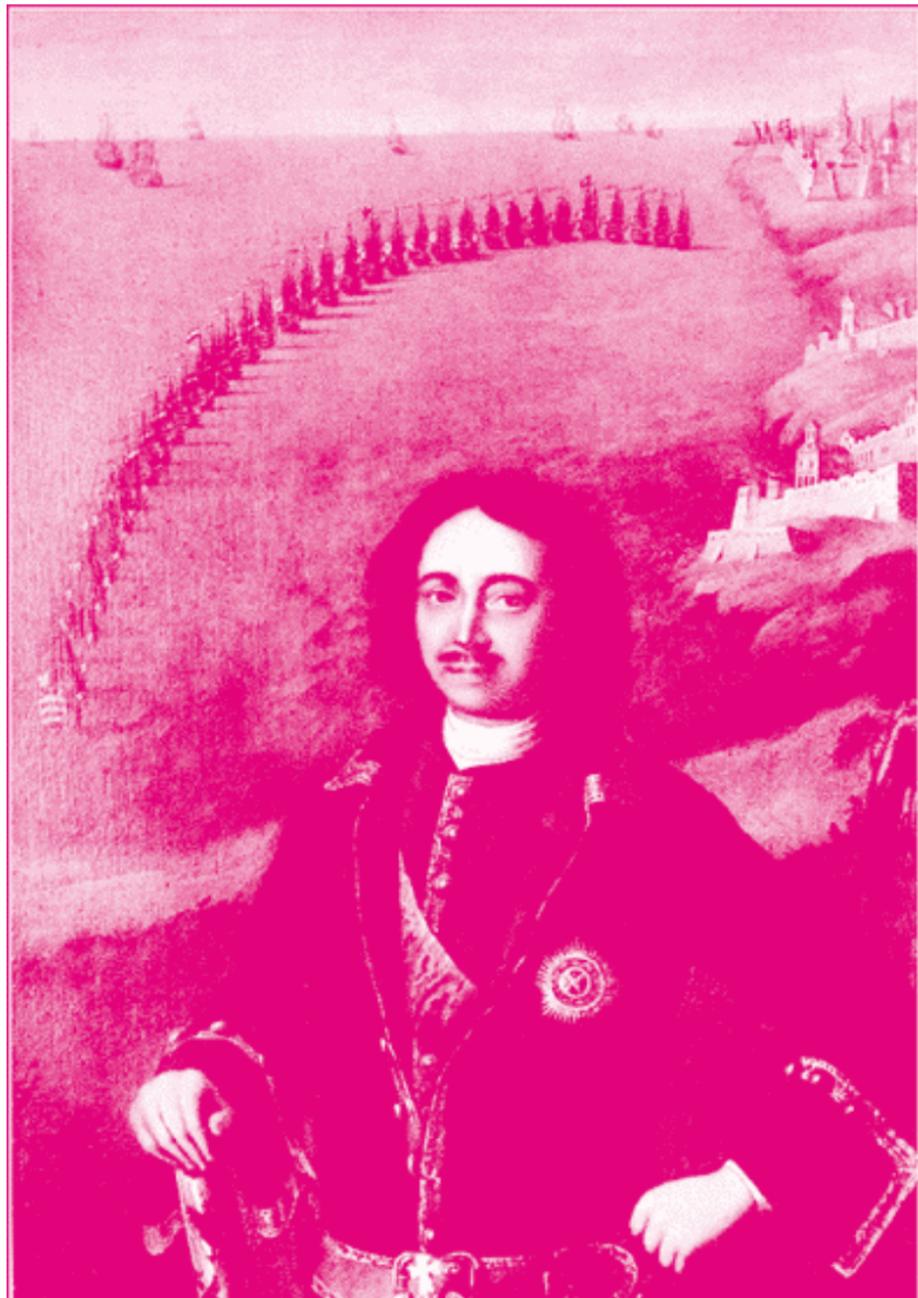
Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками, Петр изложил ту же мысль по-своему. Кстати, воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 г., празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе, среди приглашенного на пир высшего общества, много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой

речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад, – так начал царь, – что мы с вами здесь, у Остзейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране, построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи? Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда, по превратности времен, они были изгнаны, перешли

в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдаётся мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое – в Грецию. Покамест советую вам помнить латинскую поговорку: “Ora et labora” (молись и трудись) и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу Русского имени». – «Да, да, правда!» – отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова. И, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стака-

ны, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих диких предприятий.



Император Петр Великий в 1716 г.

Рассказчик придал этой беседе иронический эпилוג. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола; думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унижительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: «К че-

науках обучил», в *Воинских статьях* запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа они суть, между собою христианскую любовь иметь», внушал «с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением», говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, – и он первый на Руси стал это писать и говорить, – а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом.

Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам; эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны.

Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клеветец: совесть моя чиста. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер».

Защищая царя от обвинения в жесткости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против сего монарха».

Эта «архива» уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это

грешное желание. Сестра, царевна Марья, плакалась на бесконечную войну, великие подати, разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от вздыханий народных».

Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на Соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, оморок мирской, подкидыш, антихрист, бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него; сам царевич признался, что готов был стать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество; желаю ему полезно, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать: народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кроншлоте, на Ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала.

По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дела. Никого не щадя, всего

менее – себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо: так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании Шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это – «стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение».

Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что, после поражения под Нарвой, он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас; пусть бьют; но они выучат и нас бить их самих; когда же ученье обходится без потерь и огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась олонекскими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а поддан-

ных – примерами; в том и другом исцеление вижу медленное; все решит время».

Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки, и, в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя: «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры (Софьи) был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине (первой жене) несносен: она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Но Петр поступал в политике, как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя со своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!», благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам,

весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.

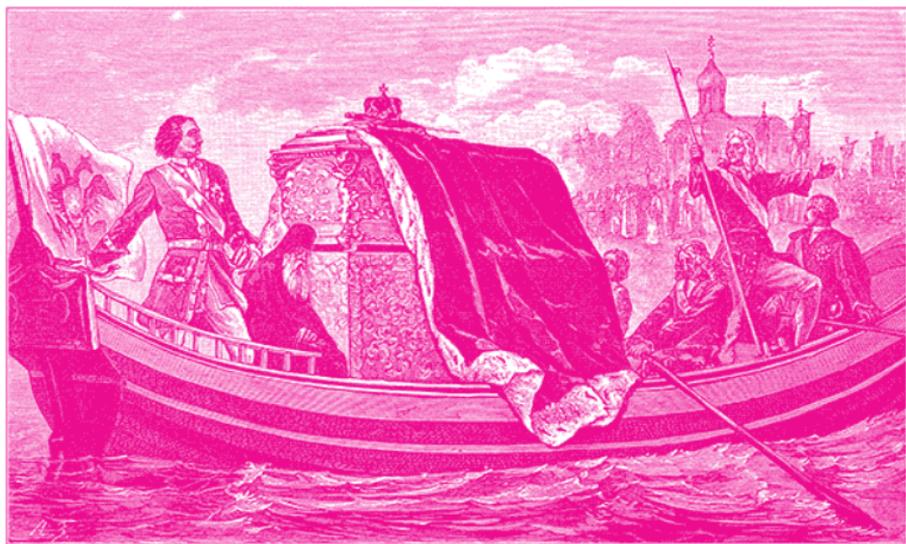
Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг – неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение, – таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось; а делалось, кажется, довольно просто, как бы само собой, действием неуловимых впечатлений.

Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 г., по окончании заграничной выучки, держал экзамен перед самим царем, в полном собрании Адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю, как Страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно, – сказал на это царь и, оборотив к нему ладонью правую руку, прибавил: – Видишь, братец, я и царь, да у меня на

руках мозоли, а все для того – показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг Отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей; что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так скажи».

Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец! Я вам от Бога приставник, и должность моя – смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и Отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злomu и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой; вначале Бог, а по Нем и я должен буду не оставить. Прости, братец! – прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. – Приведет ли Бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу, был более суток в бес-

памятстве; да иначе мне и грешно бы было: сей монарх Отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами.



Перенесение Петром I мощей Александра Невского в Петербург в 1723 г.

Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть

и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, – всей своею деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось в глубь общества, заставляло даже простые и грешные, но

непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым: он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 г. и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принеся чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась, и не получив прощения в своих грехах по службе: состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил; да он же, Иван Кокошкин, ему, государю, виновен; оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьей совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.



Печатный станок Петра Великого